



**Книжка**



**Забутые истории Ханса Кристиана Андерсена.**  
*Перевод с датского, вступительное слово,  
комментарии и примечания Дмитрия Кобозева*

*ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА*

*Вниманию читателей предлагаются оставшиеся вне традиционных детских изданий писателя малоизвестные и неизвестные русскому читателю сказки и истории. Некоторые из них появились при жизни Андерсена, главным образом, в газетных и журнальных публикациях и не были включены автором в его сборники и книги путевых очерков. Также здесь представлены сказки и истории, которые писатель считал не столь самостоятельными или незавершенными, а потому оставил в своем рукописном архиве. Они были напечатаны посмертно в датских и зарубежных изданиях или публикуются здесь впервые по оригинальным рукописям Андерсена.*

*Произведения расположены в хронологическом порядке, что в какой-то мере позволяет проследить эволюцию творчества писателя. «Смею надеяться, что всякий, кто прочтет мои сказки в том порядке, в каком они были написаны, заметит в них постепенное развитие и совершенствование, как в смысле ясности выражения основной идеи, умения пользоваться материалом, так и в жизненной правдивости и свежести», — писал Андерсен в автобиографии «Сказка моей жизни» (1855).*

Ханс Кристиан Андерсен

## КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

(Из немецкого)

### ХАНС И ГРЕТА

Жили на свете два брата. Каждый владел прекрасным наделом земли, и поскольку они были соседями, то частенько хаживали друг к другу в гости и разговаривали о хозяйстве, да о достатке. Один хвалился честностью его работника, другой же — ловкостью своей служанки. У старшего брата был великолепный жеребец, у младшего — красивая кобыла, оба одного цвета и роста. Вот об этих-то животных и заходила каждый раз речь: старший брат хотел купить кобылу младшего, тот же, напротив, не отказался бы от жеребца. Что ж, согласны они были только в том, что оба животных должны принадлежать одному хозяину — но никак не могли договориться между собой.

Однажды, когда в очередной раз речь зашла о жеребце и кобыле, младший брат воскликнул:

— Ну, так спорим, что я получу жеребца без твоего ведома? Более того, твой честный работник сам мне его приведет!

— Спорим, — согласился старший. — Мой жеребец против твоей кобылы, что этого не случится. Если работник захочет украсть его, он мне сам об этом скажет.

— Это ты так думаешь! — возразил младший.

— Да я уверен в его честности!

Пари было заключено, и братья разошлись.

На следующее утро младший брат позвал свою служанку и рассказал ей о пари с братом:

— Теперь я надеюсь на твою сноровку!

— Можете на меня положиться! — заверила его Грета и тем же вечером отправилась к работнику старшего брата.

— Доброго вечера, Ханс!

- Спасибо, Греточка!
- Трудишься, как всегда...
- Да, ведь это мой долг, моя обязанность.
- Я слыхала, твой хлев такой аккуратный, ни дать ни взять, кукольный шкафчик. Да теперь я и сама это вижу!

Ханс был польщен и пригласил Грету войти внутрь. Она же похвалила то, что стоило похвалы, и помогла с тем, что работнику еще необходимо было сделать.

«Эта Грета, пожалуй, симпатичная и милая девушка!» — подумал Ханс.

На следующий день, в субботу, Грета пришла снова.

- Доброго вечера, Ханс!
- Спасибо, Греточка!
- Ты не сердись, что я сегодня опять пришла?
- Нет, с чего бы это?
- Ты уже свободен на сегодня?
- Да, я уже все сделал! И очень торопился! А знаешь почему?

Потому что мне подумалось: может, Греточка заглянет сегодня?

Они присели поболтать. Ханс приметил, что Грета умеет складно говорить, да к тому же весьма умная девушка. Он возьми да и спроси ее: не хочет ли она пойти с ним на танцы в это воскресенье.

Грета согласилась, и они протанцевали до глубокой ночи, когда девушка воскликнула:

— Бог мой, уже так поздно! Мне ведь надо быть дома! Седлайка своего коня и отвези меня!

Ханса не надо просить дважды. Посадил Грету на коня, и покакали они сквозь темную ночь. Чтобы девушка не упала, Ханс обхватил ее рукою и всю дорогу твердил о ее благосклонности к нему. Грета посчитала, что настал подходящий момент высказать все, что у ней на сердце: что ее хозяин хочет заполучить жеребца, на котором они сейчас скачут, и что он пообещал ей большое вознаграждение, и когда она получит его, оно станет хорошим приданным.

— Ты ведь поможешь, дорогой Ханс? — спросила она и поцеловала работника.

Бедняга Ханс! Теперь ему придется выполнить просьбу девушки — хочет он того или нет. Но как скрыть от хозяина кражу?

— Надо что-то придумать,— решила Грета.— Скажи хозяину, что во время поездки на тебя напали волки, и коня пришлось бросить. Волки же обглодали его до костей. Можешь даже привести господина сюда, а я позабочусь о том, чтобы завтра на этом месте лежали обглоданные лошадиные кости.

На том и порешили. Грета ускакала на коне, а Ханс отправился домой пешком.

Дома он никак не мог уснуть, его терзала мысль о том, как он завтра будет лгать своему хозяину. Не лежалось Хансу в постели, он вылез из нее и решил поупражняться во лжи. Вышел за дверь, обернулся и постучал — представил, что за дверью — его хозяин:

— Доброго утра, Ханс!

— Спасибо, господин!

— Как там жеребец?

— Э-э-э, господин! Жеребец...— Тут он запнулся и не мог говорить дальше. Вышел снова за дверь и повторил: — Доброго утра, Ханс!

— Спасибо, господин!

— Как там жеребец?

— Э-э-э, господин! Жеребец...— И опять он замолчал, ложь застряла в горле и тяжким камнем лежала на сердце.

Спозаранку он отправился в комнату к хозяину.

— Доброго утра, Ханс!

— Спасибо, господин!

— Как там жеребец?

— Э-э-э, дорогой господин! Жеребец...— Он запнулся было на мгновение, но продолжил,— жеребец похищен, и вор — я, теперь меня остается только повесить!

Затем Ханс рассказал, как все произошло, упомянув о том, что сообщила ему Грета.

— Так что жеребец у брата господина,— заключил он.

Хозяин был обрадован подтвердившейся честностью работника, простил его и пообещал вознаграждение — такое же, как брат его обещал служанке.

— Теперь важно, чтобы ты женился на Грете,— сказал хозяин.— Тогда ты приведешь ее в мой дом, и у меня будет не только честный работник, но и ловкая служанка.

Ханс не мог и мечтать об этом. Честность победила в пари, и тому, кто положился на хитрость, пришлось лишиться и слу-

жанки, и кобылы. Да так, в сущности, и должно было произойти!

## ГОЛУБЫЕ ГОРЫ

Неподалеку от гор обосновалась тихая и набожная община людей. Члены ее питались той кашею, что старательность их помогала добыть им с земли, тем молоком, что получали они от животных, пасшихся на лугу. Трапеза их проходила в удовлетворении и благодарности Господу. Утренней порою люди выходили на свежий воздух и, обратив свои взоры к востоку, молились незримому Богу, который подымал в небеса солнце из-за этих прекрасных голубых гор, устремлял вниз водные потоки, насыщающие их поля и луга, насылал непогоду с громом и молниями, исполненную царственного великолепия.

Но был в общине человек, который хотел подобраться к горам настолько близко, что смог бы исследовать водное течение, ветер и воздух. Однажды он отправился туда и осуществил свое намерение.

Через некоторое время человек этот воротился и провозгласил собравшимся общинникам:

— Любезные братья! То, что вы возомнили себе о голубых горах и Боге — неправда! Мы глубоко заблуждались. При ближайшем рассмотрении предметы сии предстали предо мною в совершенно ином, отличном от наших воззрений, свете. Горы, которые отсюда кажутся столь прекрасно голубыми, — в действительности, лишь неровные и бесплодные камни; воды, что струятся из ущелий — дикие и разрушительные горные потоки; ветер и воздух — суть природные миражи, происходящие сами по себе; солнце же встает далеко за этими горами, и Бога, которого мы воображали себе, там нет.

Члены общины пришли в замешательство от слов человека, суждения которого имели значительный вес, некоторые даже возмущенно зароптали: «Так наши предки обманули нас! Мы верили в сказку, как во что-то реальное!» И с тех пор они перестали возносить молитвы Богу, который творил чудеса в голубых горах, но и работать стали с неохотой, жили в постоянной неудовлетворенности.

Нашлись среди них такие, кто сами отправились в горы, чтобы увидеть все воочию — да только утомили себя напрасными хождениями вверх и вниз, а многие сорвались в пропасть или заплутали среди величественных горных круч и умерли от голода.

Однако ж на одного из таких путешественников снизошел духовный свет. Он подумал, взирая на глыбы скал: «Какая же сила их воздвигла? Вид этих громад заставляет сердце трепетать и мыслить о величии!» Почувствовав жажду, путешественник спустился к горному источнику, где увидел дикое животное, припавшее к воде; и он восславил того, кто позволил благодатной свежести хлынуть из этих скал. Отсюда, с вершины горы, открылась ему истинная природа сущего: разрушительный поток превращается в долине в мирную реку, которая несет корабли от города к городу и дарует людям нескончаемое наслаждение. Наблюдал он и движение облаков, изменение ветров и увидел, что все это подчиняется определенному закону. И солнышко просыпалось каждое утро к востоку от той вершины, где стоял путешественник. Тогда он преклонил колена пред тем незримым, что являет свою мощь во всем вокруг, и осознал истину в древней вере: да, Бог действительно царил в прекрасных голубых горах! Но одновременно с этим человек уразумел, что нельзя привязывать себя к мертвым словам веры — необходимо следовать смыслу этих слов!

Он воротился домой и проповедовал в общине свое Евангелие. И те, кто услышал и принял его, снова работали с хорошим настроением, по утрам, как и прежде, выходили на свет Божий и, обратив свои лица к востоку, молились тому незримому, что царит в голубых горах — тому, что позволяет солнцу вставать, водным потокам струиться, а непогоде метать громы и молнии. И пока они возносили моления с верою в душе, в их повседневный труд вливалась сила, руки работали слаженнее, и каждое разумное желание сердца было исполнено.

## **НА СМЕРТНОМ ОДРЕ**

*(История, рассказанная месяцем)*

«Далеко-далеко отсюда, — так начал свой рассказ месяц, — возвышается дворец, огромный, роскошный, с мраморными барельефами на стенах, прекрасные ковры устилают его широкие

лестницы и коридоры. Однажды я проплыл над венчавшим его куполом и заглянул с высоты сквозь стекла больших окон в великолепно убранную залу — то была сокровищница дивных произведений искусства. Но внутри царил невообразимая суматоха, причину которой я решил выяснить, и вот что я увидел: в спальном покое, в окружении свиты и лейб-медиков, под роскошным балдахином с тяжелыми золотыми кистями, возлежал на своем пышном ложе король. Здесь было тихо, никто не смел шелухнуться. “Он задремал, — шептались придворные, — сон укрепит его тело и дарует облегчение от недуга”. Но я-то знал, что король не спит. Мой взор уловил то, что недоступно человеческому глазу: посреди величественного ложа, на груди закоченевшего, бледного короля, ослабившись в жуткой гримасе, восседала костлявая Смерть. Она нацепила на себя золотую корону монарха, а кончики своих заострившихся пальцев приложила к его глазам. Смерть нашептывала королю отвратительные истории, истории из его жизни, повествующие обо всех злых, жестоких деяниях, которые он когда-либо совершал. В покое стояла жуткая тишина, было так тихо, что отчетливо слышалось каждое слово, произнесенное Смертью. От ужаса на лбу короля выступили кровь и капли пота... Но меня там уже не было — я плыл над высокими горами, оставив дворец далеко позади».

Вот о чем поведала месяц, я же лишь набросал эту картинку в свою тетрадь. Гениальный поэт, художник или композитор воспользовался бы этим материалом лучше, разукрасив мой бледный набросок пылающими красками, которые, подобно зловеющим откровениям, явленным королю Смертью, прожигали бы человеческие сердца вплоть до самых потаенных их уголков.

## **О ЧЕМ ПОВЕДАЛА СТАРАЯ ИВА**

Дорога была проселочная, узкая и лежала в стороне от большого тракта; по бокам ее выстроились в ряд ивы, выглядевшие довольно уныло: их стволы, вместо пышной кроны, венчала обрубленная, узловатая верхушка, из которой, словно струи воды из лейки, взметнулись вверх молодые побеги — тонкие лозинки; таких деревьев здесь было много, а вот живописную иву можно



было увидеть, пройдя по дороге чуть дальше; там, возле огромной лужи, которая имела все основания называться прудом, стояло старое-престарое дерево, ему, должно быть, исполнилось больше сотни лет. Во времена далекой молодости эту иву подрезали, как и все остальные деревья, и ей приходилось беспрестанно выпускать свои побеги-прутики, но вот уже с полвека ива была представлена самой себе и выглядела теперь поистине роскошно: ее длинные густолиственные ветви клонились к подернутому ряской и заросшему зеленым пруду; посреди ствола проходила трещина, во время одной из сильных бурь расщепившая макушку ивы, а из этой самой трещины, куда ветром нанесло чернозему и прелых листьев, росли трава и цветы. Особенно наверху, где дерево раздваивалось, — там образовался целыйисячий садик с малиной и мокричником; там даже проросла крохотная стройная рябинка, которая красовалась теперь на верхушке ивы. Казалось, что дерево, такое сгорбленное, такое дряхлое и почтенное, — это старец, а раскидистые ветви — его пышный зеленый парик. Впрочем, оно и в самом деле было стариком, которому перевалило за сотню лет.

Ива, застывшая в гордом одиночестве, была достойна кисти художника, однако стоило подойти к ней поближе, и тотчас становилось понятно, что ее окружение являет собой еще более живописное зрелище. В первую очередь, сказанное относилось к пруду, который цвел и зеленел, его заполонили водяные растения, а потому он казался зеленым пятном, — лишь на миг, когда расходилась в стороны потревоженная плюхнувшейся лягушкой зеленая ряска, можно было увидеть черную воду. К ней-то и тянулась старая ива. Сюда же склонил свои ветви росший сбоку куст бузины, который каждую весну стоял усыпанный цветами; над лопухами и крапивой навис дикий хмель, а в самом углу вымахал здоровенный рогоз, необычайно бархатистый, могучий и крепкий.

Позади же всего этого зеленого великолепия одиноко ютилась ветхая, полуразвалившаяся крестьянская лачуга; казалось, она изнемогала под тяжестью лепившегося на ней гнезда аиста — единственного, что там не нуждалось в починке; дикий хмель оплел развалюху вплоть до темно-зеленой крыши, на которой тут и там росли среди разноцветного мха дикий чеснок и желтые цветы. На лачугу эту можно было только смотреть, но

уж никак не дотрагиваться до нее — настолько она была дряхлой! Но это не смущало ни аиста, ни древнего старика, коротавшего в ней остаток своих дней, хотя ему частенько неприятно поддувало с севера, ведь к северу от лачуги не было ни единого деревца — ни ивы, ни бузины. Там расстилалась огромная барщина: овес стоял еще желто-зеленый, тогда как пшеница уже налилась золотом и созрела.

— Старик в лачуге, аист наверху, да я вот тут, у пруда, — говорила старая ива, — мы — одна семья. Я здесь дольше всех и появилась прежде остальных; а старика я помню, когда он был еще маленьким светловолосым мальчиком. В этой самой лачуге он родился и вырос; по моей спине он карабкался, баламутил пруд своими босыми ногами, — ни на неделю этот мальчишка не пропадал у меня из виду. Как-то раз он воспылал любовью к девушке — жалкий оборванец! По пути на ярмарку он сидел с ней бок о бок в повозке, но так и не осмелился признаться в своих чувствах — и тем лучше, поскольку на следующий же день девица согласилась выйти за богача крестьянина, доставившего ей и скот, и прочие блага. «Она это заслужила», — услышала я тогда от робкого паренька. Не больно он был разговорчив, а в последний год и подавно — не чета моим ветвям: уж они-то шелестят на все лады, когда ветер резвится в них. Ни мне, ни ему торопиться некуда, а дождь с непогодой, солнечные лучи да облака пусть себе проносятся над нами! Аисту тоже не сидится на месте: каждый год ему нужно улетать отсюда Бог знает куда, в чужие страны, но он нас не забывает и каждый год возвращается обратно. Правда, воробьи чирикают, мол, на самом-то деле это потому, что здесь он не испытывает недостатка в хорошей еде, да стоит ли слушать болтунов, которые ни о чем другом и говорить не могут! Аист — преданный друг! «Благодаря ему не сносят лачугу», — сказала недавно барышня из господской усадьбы, присевшая у дороги и перенесшая на бумагу меня, лачугу и аиста, — она назвала это зарисовкой.

Я, конечно, подсмотрела, что у нее получилось. Меня изобразили любующейся своим отражением в пруду, однако на этой картинке можно лицезреть лишь мою внешность; того, что я чувствую, там, как ни старайся, не разглядишь.

«До чего ж здесь славно, сушая благодать!» — радуется старый Якоб, живущий в лачуге. Аист же считает, что места лучше этого не сыскать: и то правда — здесь наши корни, а у него тут свое гнездо.

## УХОВЕРТКИ

Ты, верно, не знаешь, что ухвертки — нежнейшие из всех матерей; так говорится в естественной истории, вот почему об этом следует знать. У них в высшей степени развита материнская любовь. Положим, обезьяна тоже испытывает привязанность к своим детенышам, но это обезьянья любовь: мамаша чуть не до смерти душит их в своих объятиях!

— Мне и в голову не могло прийти подобное! — воскликнула старая ухвертка. — Я о самой себе забываю ради невинного крохи: нынче помолвлен мой младшенький. Он у нас бездельник и не имеет за душой ни гроша, однако помолвка уберезет его от присущих молодежи сумасбродств и заставит взяться за ум! Вот я и радуюсь этому событию!

— У вас есть для этого все основания! — заметила другая почтенная мамаша-ухвертка. — Детки должны вести себя соответственно их природным наклонностям. Я так не отступаю от этого правила в отношении своего малыша, хотя он, признаться, немного шалит; ну, да пусть себе перебесится в юности, зато его ожидает славное будущее! Он доставляет мне столько радости, а между тем за ним нужен глаз да глаз!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>На этом обрывается текст рукописи. Приводим здесь продолжение, взятое из сказки «Навозный жук» (1861), в которую Андерсен поместил эпизод с мамашами-ухвертками:

«— Взгляните-ка на моих малюток! — поспешила сказать третья, а за ней и четвертая ухвертка. — До чего ж они милые и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, — а от этого в их возрасте не уберезешься! И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках.

— Чего только ни выдумают эти проказники! — восклицали ухвертки, потев от избытка чувств».

## ХМЕЛЕВОЙ ШЕСТ

На хмелевóм шесте не увидишь ни веточки, ни листика, — их у него и не должно быть, потому как это шест, а не что-либо другое. Весной нарождается невеста — хмелевая лоза, которая становится его супругой; она обвивает собою шест, и у него словно вырастают листья; вместе же эта парочка выглядит настоящим деревом.

— Я удерживаю ее в воздухе, я ее опора! — говорит хмелевой шест.

Листьев на нем не счесть! А вот среди них появляются и цветы, какой аромат разливают они вокруг! Но на праздник хмеля лозы срезают и, обобрав с них хмель, отправляют на костер; так хмелевой шест становится вдовцом до тех пор, пока по весне не объявится новая прелестница, цветущая супруга!

— Стою по-прежнему я, уходит супруга моя! — твердит хмелевой шест. — Но во всем ведь бывают исключения. Возьмет какой-нибудь из моих братьев, да и заявит: раз и навсегда сделаю цветущим деревом, вот только заключим друг друга в страстные любовные объятия!

И наша парочка крепко льнула друг к другу в дождь и солнце, в пасмурные и ясные дни; вокруг царили жизнь и красота, а шест купался в счастье и блаженстве, — чего ж еще желать? Так продолжалось до тех пор, пока лозу не срезали, шест вытаскивали из земли и ставили в угол, где он забывался долгим зимним сном, чтобы с приходом весны вновь заняться своим делом и взять в жены очередную молоденькую красавицу. И стоило пригреть солнышку, как она являлась, шест и лоза становились «прелестнейшим деревом в лесу», — так нарек себя шест, услышав и поняв на свой лад строку из старинной баллады, слова которой оказались созвучными его собственным мыслям.

Однажды в сад, где рос хмель, наведалься ученый муж, школьный наставник со всеми своими учениками, и беседа их представляла собой не что иное, как упражнение на смекалку. Хмелевой шест оживился, когда в разговоре упомянули его самого, это было забавно, и он стал прислушиваться. Речь зашла о хмелевых шестах в истории; при этом говорилось, что в старину в Дании,

раздираемой внешними и внутренними распрями, крестьянин был для помещика не более чем скот в хлеву: его запросто могли обменять на хорошего охотничьего пса! И крестьянин устал от такого обращения, принялся пускать красного петуха, — много старых господских усадеб погибло в огне! Говорили и о священнике из Сваннинге, Хансе Мадсене, которому богатый владелец Сандхольта доверил свое золото и серебро; любекцы пытались заставить священника рассказать, куда он его спрятал, но тот отказался, и за это Мадсена привязали к лошади: ему пришлось бежать за нею босиком до самого Оденсе. Там, в усадьбе пробста<sup>1</sup>, священника поначалу засадили в огромный шкаф, затем выволокли оттуда, чтобы пыткой выбить из него признание: несчастного подвешивали за большие пальцы рук и тыкали в подмышки раскаленным клинком, но он не проронил ни словечка и за это вновь должен был тащиться за лошадью босиком, миля за милей, от Оденсе до Фоборга, где священника опять упрятали в шкаф.

Но вот ночью, в саду, где тоже рос хмель, раздались чьи-то шаги, вслед за тем показался босой мужчина в оборванном пасторском одеянии, с косматой головой; он что-то искал, тревожно озираясь по сторонам. Приметив хмелевой шест, он тотчас выдернул его, зажал в руке и направился к берегу моря. Тут лежала лодка, которую священник спустил на воду, после чего залез в нее сам, оттолкнулся шестом и поплыл по направлению к маячившим впереди огням датского лагеря. То был лагерь Йохана Рантцау<sup>2</sup>, а священник — не кто иной, как Ханс Мадсен, которого ландскнехты связали и на поводке привели в Оденсе, в усадьбу пробста, для верности засадили в шкаф, стоявший в горнице, не подумав при этом, что отсюда пленный мог совершенно спокойно подслушать все неприятельские планы.

Однажды ночью священнику удалось совершить побег, и теперь он явился предупредить лагерь о грозящей опасности. При нем все еще был хмелевой шест, которым Ханс Мадсен без устали работал, переплывая бухту, — он выпустил его из рук, лишь очу-

<sup>1</sup>Пробст — старший пастор у лютеран.

<sup>2</sup>Рантцау Йохан (1492–1565) — датский полководец и государственный деятель, активный сторонник Реформации. В «Графской распре» 1534–1536 гг. на стороне короля Кристиана III (1503–1559).

тившись лицом к лицу с Рантцау и рассказав ему обо всем, что услышал от неприятелей.

### РАССУЖДЕНИЯ АИСТА

Датчане — мои соотечественники, хотя и недружелюбные, — зовут меня египетской птицей, а ведь я родился и набирался уму-разуму в Дании: они собственными глазами могли наблюдать мое появление из яйца, экзерсисы, которые я выделял, постигая летное искусство. Я — датчанин не хуже других, несмотря на то, что моя родня живет в Германии, Голландии и Англии. Однако ж, будучи перелетной птицей, «Fløtfugl», как говорят шведы, на зиму я должен перебираться на юг, поскольку в моей, в общем-то славной, датской родине зимой стоит невыносимая стужа. За это меня и зовут египетской птицей, но мне до этого нет дела: правды ведь все равно не скроешь, да и никто кроме людей меня так не величает.

Малюткой семи дней от роду я увидел хозяев мира; они казались мне гораздо важнее папаши и мамыши, хотя те кормили и обучали меня. Родители тоже отзывались о людях довольно любезно, но предпочитали держаться от них подальше. «Так безопасней и удобней всего», — говорили они. Обычно усваиваешь язык той страны, в которой рос, — я и владею им так же хорошо, как языком аистов: он-то более распространен и одинаков у аистов во всех уголках мира; люди же перестают понимать друг друга, стоит им переехать из одного места в другое. Я уяснил для себя, что все они — славные и хорошие, лишь когда понимают друг друга, однако под нашим гнездом притаилось нечто такое, что зовется у них чертом: он-то и опасен для людей, потому как они до такой степени начинают баламутить чистую, благословенную воду жизни, что пить им приходится помои, которыми они давятся.

Люди разделяют себя на высших и низших, но при этом, залезая в воду, выглядят одинаково: они совершенно лысые, — хоть бы для приличия купили себе оперенья! Гнездо же, в котором они чинно сидят, по-видимому, в большей степени свидетельствует об их недостатке. Я и в самом деле уверовал в то, что они стоят гораздо

выше нас, аистов; однако во многом, если так можно выразиться, это птицы не нашего полета: некоторые из них, правда, стали передвигаться быстрее по так называемой железной дороге, но нас им не догнать, да к тому же мы не сталкиваемся и не ломаем себе шеи! Растяпы — вот кто эти хозяева мира! Меня прямо-таки бросает в дрожь, когда я слышу о крушениях на железной дороге! Как славно, что для полета по воздуху нам не требуется ни рельсов под ногами, ни бешеных локомотивов!

Я, конечно, не певчая птица, и язык у меня не подвешен, но зато я умею так громко трещать своим клювом, что все услышат. Вот и протрещу им сейчас: Дания — моя родина, а для тех, кому это не нравится, я — величественная птица севера, которая зимует под солнцем Африки, пока на родине холодно.

Я повидал достаточно людей, чтобы раскусить их и убедиться, что все они наделены самыми что ни на есть лучшими аистовыми сердцами и помыслами, да только им-то невдомек! Вот и начинает завариваться чертовщина, — потому как это она и есть — бурлит, брызжет из горшка, а над ним подымается такой густой пар, что людям не видать друг друга — попробуй тут не обожгись! Будь я придворным священником или газетным проповедником, — непременно бы их вразумил!

## **ОСЕЛ В ТОПЧАКЕ**

Чуть ли не о каждом из моих португальских странствий можно рассказать целую сказку! Вот одна из них.

Как-то раз я возвращался с вечерней прогулки, собираясь закончить письмо. Мой путь пролегал через ближайший из разведенных здесь обширных апельсиновых садов. В них обыкновенно вырыт огромный, глубокий колодец, вода из которого подымается и попадает в систему оросительных каналов посредством топчака. Самый механизм довольно прост, им пользуются со времен предприимчивых мавров: вода зачерпывается особыми ковшами, укрепленными на колесе, денно и ночью приводимом в движение несчастным ослом с завязанными глазами, — вернее, ослами, сменяющими друг друга через каждые два часа.

Во всякое время суток животное мерно бредет в топчаке, не двигаясь с места; повязка на глазах не дает ему любоваться ни дивным мерцанием звезд в вышине, ни великолепием цветов граната, выделяющихся на фоне зеленой листвы, ни страстоцветами, карабкающимися по стене, словно какой-нибудь сорняк, ни даже высокими и крупными цветущими стеблями алоэ, вымахавшими в глубоком песчаном овраге один подле другого, подобно телеграфным столбам, только более изящным, похожим на величественные бронзовые канделябры из Помпеи, изысканность которых в бедной португальской Троже<sup>1</sup>, пожалуй, сочли бы неуместной.

— Ослу неведома вся эта роскошь! — невольно вырвалось у меня.

— А может, она мне вовсе и не нужна! — услышал я в ответ. Португальский осел ведь разговаривает на том же языке, что и датский. К счастью для зверей, язык каждого их вида всюду одинаков, да и тот является лишь диалектом всеобщего языка животных, из которых осел, несомненно, самый немногословный, а соловей — истинный кладезь красноречия.

— Я занят делом, равно как и те, кому я безразличен, или те, кто без конца глазают на меня, что, в сущности, позволительно лишь моим хозяевам! — заявил осел. — Под их кровом мне перепадает и кнут, и сено! Работа, корм да спанье — вот ради чего я, собственно, здесь торчу. Всего же приятней полакомиться желтым цветком чертополоха, красующимся под тенистым оливковым деревом!

Следует признать, что среди переводов моих сказок иной раз встречаются посредственные: их для чего-то снабдили неким разъяснением, даже моралью, в оригинале заложенной в саму сказку и не нуждающейся в том, чтобы ее преподносили в сжатом виде. Доберись горе-переводчик и до этой крошечной истории, он, вероятно, ввернул бы сюда что-то вроде: «Сколько не похожих на этого осла людей упражняются в своем почтенном занятии, но однако же, подобно ему, топчутся в колесе с завязанными глазами посреди прекрасного Божьего мира!»

---

<sup>1</sup>Трôжа — древний, засыпанный песками город на одноименном полуострове, расположенном в пятидесяти километрах к юго-востоку от Лиссабона. В «Дополнении к “Сказке моей жизни”» (1871) Андерсен называет его «португальскими Помпеями».



И поступил бы весьма опрометчиво, поскольку это еще не конец!

— Слышишь, как квакают лягушки в водных оазисах под той аркой? Думаешь, у них нет забот? — попытался вразумить я осла. — «Пю-пю-пю!» — стрекочет кузнечик в стенной расщелине. И у него дел предостаточно: он должен оповещать о приближении постороннего.

— Зато у кузнечика нет моих хозяев, по мнению которых, я появился на свет лишь для того, чтобы ради их выгоды крутить колесо! — горько усмехнулся осел. — Сомневаюсь, чтобы они вообще у него были. С каким удовольствием издал бы я радостный вопль, если б только был уверен, что это придется по душе моим господам, но благоразумней всего молчать и выполнять свою работу — именно так подобает всякому урожденному ослу!

Возразить было нечего, и потому, простившись с четвероногим тружеником, я продолжил путь на виллу моих португальских друзей. Цветущие апельсиновые деревья благоухали, а над всем этим приютом роскоши, с картинами и статуями, розами и кактусами, необычайно ярко сияли звезды.

## **ЗЕЛЕННЫЕ ОСТРОВА**

Когда после бурной, веселой ночи, проведенной на балу, возвращаешься домой в экипаже, сидишь с опущенными веками не оттого, что клонит ко сну, — просто мелодии, слышанные ночью, как бы запечатлелись в ухе, вокруг все еще сверкают огни бальной залы, мимо проносятся в вихре танца бесплотные прелестные женские образы; великолепие бальной ночи настолько живо отражается в нашей душе, словно она еще там, а мы следуем за ней, как за небесной звездой, сияющий луч которой не может угаснуть сам по себе и продолжает светить.

Изредка в минуты, подобные этим, наша душа начинает грезить о пережитом, и воспоминание это взволнует нас с новой силой, хотя на сей раз мы будем всего лишь созерцать его. Жизнь, даже богатую событиями, или многочисленными путешествиями, но при этом неторопливо проведенную в уединении, рано

или поздно ожидает забвение, как засыпанные пеплом Помпеи — утраченное достояние, окруженное своеобразным священным ореолом.

Вот так же и с памятью о родине; зачастую она сопоставляется с теми картинами, которые разворачивает перед нами жизнь. В шумном городе, где улицы озарены сотнями ламп, льющих свой свет из витрин магазинов, у гренландца пробуждается воспоминание о родном его сердцу пылающем северном сиянии, ослепительно-белом снежном покрове, а еще о смертельном одиночестве, лишь изредка нарушаемом голубым песком, испускающим хриплый крик. Когда равнинный житель отправляется в горную страну, ему намного тягостней, чем ее высокогорным обитателям, путешественник тоскует по привычной плоской, обширной равнине, или, по крайней мере, вспоминает ее. Датчанин, приезжая в какую-нибудь южную страну, да еще и вновь увидев море, с удвоенной силой начинает вспоминать свою родину: волны, далеко накатывающие на земную твердь, кажутся ему рунами, которые море вырезывает у родных берегов; он обращает свой взор в сторону дома, и Дания с ее зелеными островами, предстает перед ним, подобно прелестнейшему видению Фата-Морганы.

Для меня существуют четыре вещи, которые неизменно напоминают о Дании: это вид моря, аромат клевера, старинные мелодии и «Гравюры на дереве» Кристиана Винтера<sup>1</sup>. Достаточно одного из перечисленного, чтобы на чужбине, или находясь в уединении на родине, совершенно отчетливо представить себе ее образ; я перенесу эту картинку на бумагу — пусть послужит приглашением иноземцу полюбоваться нашими зелеными островами, поросшими буком и клевером лагунами, расположенными к северу от Германии; а чего мне особенно хочется, так это чтобы к нам приезжало как можно больше гостей.

Моим же соотечественникам я поведаю своего рода повесть, где каждому читателю отведена особая роль — роль зрителя, сидящего на скамье и созерцающего толпу, частью которой яв-

<sup>1</sup>Винтер Кристиан (1796–1876) — датский поэт-романтик, оставивший яркий след в национальной лирике. «Гравюры на дереве» — название цикла стихотворений, изображающего сцены крестьянской жизни, из сборника «Стихотворения» (1828).

ляется он сам. Однако фигуры и их действия могут получиться трудноразличимыми: не следует забывать, что картинки, из которых я слагаю свою повесть, являются дагерротипами, а они, как известно, выходят удачными, лишь когда сидишь, не шелохнувшись, — при движении очертания становятся слегка размытыми.

### **ИВЕДЕ-АВЕДЕ!**

Ты, конечно, помнишь сказку о ели, которая в счастливейший вечер своей жизни услышала историю про Клумпе-Думпе, свалившегося с лестницы, но все-таки взявшего себе в жены принцессу; дети тогда хотели послушать еще и про Иведе-Аведе, но им пришлось удовольствоваться лишь одной историей.

Что ж, теперь настал черед рассказать про Иведе-Аведе. В действительности, имя у них было гораздо длиннее — помнишь, в детском стишке: Иведе-Аведе, киведе-каведе?.. Там в конце еще появляется дурачок, который, если ты не знаешь, доводится братом Клумпе-Думпе. Только сейчас речь не об этом. Иведе и Аведе были совершенно не похожи друг на друга, но послушать стоит про каждого, причем внимательно — иначе ничего не поймешь!

Так вот, одного звали Иведе, а другого — Аведе. Иведе был пылкий и порывистый, всегда первый в танце, на газетных столбцах, в обществе, обладал даром красноречия, был своего рода маленьким Господом Богом, совсем крохотным, но зато имел большой вес в газете, что, скажу я вам, очень много значит, — этакий машинист локомотива ежедневной прессы, который распоряжался человеческими жизнями и благополучием, приводя в движение подвластную ему машину одним лишь своим приказом.

— Сперва великие мира сего, а потом уж малые! Пора представить и меня! — обиженно вмешался господин Аведе. — К вашим услугам! Я и аристократишка, и мещанин, и ремесленник, и крестьянское отребье в одном лице — словом, кухонная тряпка для огромного мирового котла; мир отверг нашего брата. Вот какие мы, Иведе и Аведе, киведе-каведе!

## ПИСЬМО АИСТА ИЗ СУЭЦА ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КАНАЛА

В сентябре, после осенних маневров, я, супруга и четыре наших отпрыска покинули прелестную, гостеприимную Данию, дом Пера Хансена на Страннвайен<sup>1</sup>; мы летели много дней, прежде чем попасть в Африку, — пришлось-таки поработать нашим крыльям! Но тяготы перелета остались позади: мы в Суэце, куда все прибывает и прибывает народ для того, чтобы присутствовать на открытии канала. Сюда съехались корреспонденты со всех стран, наша родина — не исключение. Да-да, я говорю и пишу *родина!* Всем известно, что аист — египетская птица, но это несправедливо! Нам ли не быть датчанами — нам, родившимся на зеленых островах между Северным и Балтийским морями, — по крайней мере, мне и моему семейству, чья квартира на Страннвайен, у Пера Хансена на крыше, ныне пустует?

Ну, так вот, из Суэца напишут и поведают всему миру о грандиозном египетском событии дня: водный путь соединит Европу с Красным морем! Древняя мумия пришла бы в неописуемый восторг, доведись ей участвовать в открытии канала, о котором она и помыслить не могла, — да где уж там! Фараон не дожил до этого дня каких-нибудь несколько тысячелетий.

Думаю, здесь будет прелюбопытно, а посему все подробности я сообщу в отдельном письме. Шлю привет Перу Хансену на Страннвайен и поклон моему гнезду: я вернусь в марте!

## О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЧАСЫ

Вот послушайте-ка!

— Мы вполне себе живые! — заверили часы. — Тик-так! С точностью показываем и отбиваем ход времени: час, два, и так далее — до двенадцати; после двенадцати все начинается сызнова. За день и ночь стрелки дважды совершают свой круг, потому-то в Италии можно встретить часы, которые показывают от первого до двадцать четвертого часа, — только уж больно они велики! Середина ночи знаменуется нашим боем: и маленькие карман-

<sup>1</sup>Береговой путь (дат. Strandvejen).

ные, и огромные, могучие часы на соборной башне начинают звонить, поют-заливаются, — да-да, для этого у нас имеется металлический язычок! Ударим один раз, — и ночные сторожа выкрикивают: «Пробил час!» А между тем, час предыдущий уже уносится за пределы земли, туда, где во мраке, подобном царившему при сотворении мира, Господь, единый на небе и на земле, парит над водами.

### **О ЧЕМ ПОЮТ ВОЛНЫ МОРСКИЕ**

Жил на свете мудрец, и был он настолько умен, что понимал чуть ли не все языки, на каких говорили люди в разных уголках мира; понимал даже, о чем поют птицы, что означают звуки, издаваемые тем или иным животным. Не разумел он лишь одного языка — древнейшего, появившегося прежде всякого другого человеческого или животного — языка моря, пенных волн, лепет которых в ясную погоду убаюкивает, а в бурю, многократно усилившись, грохочет, подобно могучему зову сотни сирен, и даже еще громче!

— Это настоящая песнь, мелодия прошлого, но вместе с тем и будущего, притом неизменная. Сушним наслаждением было бы слушать ее, понимая, однако, о чем в ней поется! Ведь вся сила в словах! — говорил мудрец и внимал бушующему морю на его северных берегах, где ледяной зимний ветер пробирает до костей; прислушивался к шепоту волн в краю, где никогда не бывает зимы, где круглый год благоухают розы под качающимися пальмами.

— Если б только знать язык мирового океана! Даже крошечная морская улитка владеет им в совершенстве, ведь когда она умирает, волны по-прежнему шумят и поют в опустевшей раковине, поднесенной к уху. Мне просто необходимо выучить язык моря! — вздыхал мудрец. — Пусть человек и не способен воспроизвести звуки какого-либо языка, но научиться понимать его он в состоянии, нужно лишь очень сильно этого захотеть и запастись терпением!

Мудрец сознавал, что ему не поможет объявление в газете о поиске учителя морского языка, потому он и не стал его размещать, а направился напрямиком к морю, под высокие темные

скалы мыса Нордкап, где во время шторма грохот волн уподобляется судному гласу; на мыс Гренен, у которого сходятся Северное и Балтийское моря, и где обломков затонувших судов и морских птиц столько, что последние кажутся снующими по небу облаками, оглашающими окрестности своими криками. Посетил мудрец и берега Средиземного моря, где растут пальмы, где цветут розы во время северной зимы, и катятся прозрачные, сине-зеленые волны цвета вод в огромных горных ледниковых озерах Швейцарии. Тут-то и случилась история, о которой пойдет речь.

У Средиземного моря, неподалеку от границы с Италией, раскинулась Ницца — залитый солнцем городок, в котором тепло и летом, и зимой; море у его берегов шумит, поет, не умолкая, год за годом ночью и днем. Сюда приезжают иностранцы со всех концов света, чтобы подышать мягким, целебным воздухом. Сюда наведалься и наш мудрец, желавший выучить язык морских волн, и здесь он, наконец, осуществил свою мечту. Правда, ему понадобились для этого годы, рассказ о которых занял бы две-три страницы. Перелистнем их, представим, будто они уже прочитаны, — ведь тебе не терпится узнать, о чем может поведать море! Ну вот, пожалуйста:

— Я видело корабль; на его борту была женщина, темно-голубые глаза которой выдавали в ней северянку. Ее взор, исполненный любви, блуждал среди волн. Судно было объято пламенем и устремилось в мои холодные объятия в надежде потушить пожар. Так или иначе, но корабль опустился туда, где колышутся водоросли, в мой огромный заповедный сад, а я вторглось в каюты и вновь увидело ту женщину: она казалась спящей, ее руки мирно покоились на груди, едва заметная улыбка играла на устах, но Смерть уже настигла ее на цветущем дне морском. С датских островов в мои воды были пролиты слезы, горючие и соленые: оплакивали ее, сестру... Корабль стал ей гробом, а волны пропели псалом над ее могилой.

**КОММЕНТАРИИ****КОРОТКИЕ ИСТОРИИ**

(SMAAHISTORIER)

Впервые опубликовано 23 декабря 1972 г. в газете «Jyllands-Posten». Истории созданы в 1836 г. и предназначались автором для газеты «Dansk folkebladet», однако напечатаны в ней не были. Редактор вернул писателю рукопись с отказом.

Оба произведения являются обработкой рассказов неизвестного немецкого автора.

**НА СМЕРТНОМ ОДРЕ**

(PAA DØDSLEJET)

Сказочная миниатюра озаглавлена переводчиком. Среди литературоведов она известна как «Первый вечер» (Den første Aften), который должен был открывать сборник «Альбом без картинок» (дат. «Billedbog uden Billeder»), состоявший, согласно первоначальному замыслу Андерсена, из 22 вечеров-главок. Однако и этот эпизод, и лирический этюд о гробницах королей пришлось исключить из книги, увидевшей свет 20 декабря 1839 г., по причине злободневности сюжета: их могли посчитать намеком на кончину 3 декабря того же года датского короля Фредерика VI (1768–1839). 12 декабря 1839 г. писатель сообщал автору бытовых повестей Хенриетте Ханк (1807–1846): «Две истории из числа лучших пришлось убрать... Поберегу-ка я их для нового тома».

Рассказ о гробницах королей Андерсен поместил уже в следующее издание «Альбома без картинок», а мотив Смерти, сидящей на груди монарха, позднее использовал в сказке «Соловей» (1843), которая, как известно, заканчивается счастливо: соловей своим пением прогоняет Смерть от постели больного императора.

**О ЧЕМ ПОВЕДАЛА СТАРАЯ ИВА**

(HVAD GAMLE PILETRÆET FORTALTE)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене. Произведение озаглавлено переводчиком, поскольку в тексте рукописи заголовок отсутствует.

История создана предположительно до октября 1852 г. (но не ранее 1847 г.), после чего первоначальный замысел распался, и из него возникло три произведения: «Всему свое место!» (1853), «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях» (1859) и «О чем рассказывала старая Йоханна» (1872).

25 июля 1838 г. Андерсен впервые посетил усадьбу Глоруп на острове Фюн по приглашению ее хозяина графа Г. Мольтке-Витфельда (1764–1851). С этого времени писатель на протяжении многих лет был частым гостем в усадьбе. 15 мая 1847 г., находясь в Глорупе, он пометил в своем дневнике: «Вчера я видел аиста, который стоял в гнезде с распростертыми крыльями...». В своей записной книжке Андерсен сообщает об этом подробнее: «В окрестностях Глорупа есть полуразвалившаяся крестьянская лачуга, в которой никто не живет, поскольку для житья она непригодна; однако старый граф не позволяет сносить постройку: аист свил себе на ее крыше гнездо и каждый год прилетает в него. Благодаря аисту, лачуга будет стоять до тех пор, пока венец не развалится».

### **УХОВЕРТКИ**

(ØRENTVISTER)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

В списке «Сказок, которые можно было бы написать» (рукопись из архива Андерсена, датируемая апрелем-маем 1859 г.) имеется название «Уховертки». Предлагаемый набросок истории мог быть создан около 1860 г., после чего автор использовал его для сказки «Навозный жук» (1861).

В записной книжке Андерсена сохранился следующий диалог:

«— Наш сын объявил о помолвке. Он ничегошеньки не делает и не имеет за душой ни гроша, однако помолвка уберет его от присущих молодежи сумасбродств и заставит взяться за ум. Этому можно порадоваться!

— А наш,— говорят другие родители о своем чаде,— еще молод, ему нужно перебеситься. Так будет надежней, чем объявлять о помолвке в его лета, не имея средств,— ни то, ни другое не сулит добра! Пусть пока порадуется холостяцкой жизни!»



**ХМЕЛЕВОЙ ШЕСТ**

(EN HUMLESTANG)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

Произведение было создано в сентябре 1864 года. В дневнике Андерсена сохранилась запись от 29 сентября 1864 г.: «Нынче я чувствовал себя довольно хорошо и начал писать историю “Хмелевой шест” (внутренние кавычки.— Т), однако, ознакомившись со сведениями о пасторе Хансе Мадсене и узнав, что помогал он противникам Кристиана II, я отказался от этой затеи». По всей видимости, автору импонировала личность упомянутого монарха. Писатель рассказывает о нем в историях «Тернистый путь славы» (1856) и «Альбом крестного» (1868), а в начале 1830-х гг. он даже собирался написать роман о временах правления Кристиана II, но замысел так и остался неосуществленным, хотя позже и вылился в создание одноактной драмы «Грезы короля» (1844).

В «Хмелевом шесте», в форме «упражнения на смекалку» — приема, позже использованного в «Нашем старом школьном учителе» (1868), — Андерсен обращается к одному из центральных событий датской истории — так называемой «Графской распре» 1534–1536 гг.

**РАССУЖДЕНИЯ АИСТА**

(STORKENS TANKER)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене. Произведение создано в середине 1860-х гг., после чего автор использовал некоторые из «рассуждений аиста» при написании историй «Осел в топчак» (1866), «Жаба» (1866) и «Письмо аиста из Суэца перед открытием канала» (1869).

**ОСЕЛ В ТОПЧАКЕ**

(ÆSELET I TRÆDEMØLLEN)

Впервые опубликовано Поулем Хойбю (1903–1986) в ежегоднике «Anderseniana» за 1973 г.

История создана в июне 1866 г. во время пребывания писателя в Португалии, где он гостил у братьев Хорхе и Хосе О’Нил, воспи-

тивавшихся в течение четырех лет в доме адмирала Вульфа в Копенгагене. В дневнике Андерсена сохранилась запись от 16 июня 1866 года: «Увидев топчущегося в колесе осла с завязанными глазами, окруженного дивной природой, я сочинил об этом сказку».

Многие подробности, особенно касающиеся впечатлений о природе, были использованы автором в сборнике путевых очерков «Посещение Португалии в 1866 году» (1868).

Мысль о том, что язык каждого вида животных всюду одинаков, есть также в историях «Рассуждения аиста» (середина 1860-х гг.) и «Жаба» (1866).

### ***ЗЕЛЕННЫЕ ОСТРОВА***

(DE GRØNNE ØER)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

«Гравюры на дереве» К. Винтера упоминаются автором в сказке «Двенадцать из почтовой кареты» (1861): «В ридикюле у нее лежали “Гравюры на дереве” Кристиана Винтера, — они поспорят свежестью с буковым лесом».

В письмах и путевых очерках Андерсена неоднократно встречаются строки, свидетельствующие о его восхищении дагерротипами.

### ***ИВЕДЕ-АВЕДЕ!***

(IVEDE-AVEDE!)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

История про Иведе-Аведе упоминается Андерсеном в сказке «Ель» (1845).

Автор воспользовался прибауткой из детских стишков, известных в Дании: «Иведе-аведе, киведе-каведе, оут де воут де бюбело; бюбело и рангио, кэллеморс и дангио! Нынче пьян наш старичок, ну, а вот и дурачок!» По замыслу писателя, Иведе и Аведе — это две аллегорические фигуры, две противоположности. Одна — собирательный образ «власть имущих», «хозяев мира», другая же олицетворяет собой людей «второго сорта», «кухонную тряпку для огромного мирового котла».

**ПИСЬМО АИСТА ИЗ СУЭЦА ПЕРЕД  
ОТКРЫТИЕМ КАНАЛА**

(ET STORKEBREV FRA SUEZ FØR KANALENS AABNING)

Публикуется впервые по черновым рукописям, хранящимся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

Произведение было создано в ноябре 1869 года. В дневнике Андерсена сохранилась запись от 6 ноября 1869 г.: «Вернувшись домой, я приступил к работе над двумя сказками. Одна из них о телеграфном кабеле — “Из Европы в Африку”, другая же — “Письмо аиста из Суэца”, где в этом месяце предстоит открытие канала».

**О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЧАСЫ**

(HVAD UHRET FORTÆLLER)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене.

Оборотная сторона рукописи содержит окончание текста «Письма аиста из Суэца перед открытием канала». На этом основании историю «О чем рассказывают часы» можно датировать ноябрем 1869 г.

**О ЧЕМ ПОЮТ ВОЛНЫ МОРСКИЕ**

(HVAD HAVET FORTÆLLER)

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Копенгагене. Произведение было создано в декабре 1869 года в Ницце. 7 декабря 1869 г. Андерсен пометил в своем дневнике: «Вечером начал писать сказку “О чем поют волны морские”».

По всей видимости, автор изобразил здесь сцену гибели в морской пучине своей приятельницы Хенриетты Вульф (1804–1858), которую он называл сестрой, и с которой первоначально обговаривал сюжеты многих своих сказок и историй. В октябре 1858 г. в копенгагенских газетах было опубликовано сообщение о страшном пожаре, 13 сентября уничтожившем в открытом море пароход «Австрия». Большинство пассажиров погибло, в их числе и Хенриетта Вульф, по-видимому, задохнувшаяся в своей каюте.

Андерсен был поражен этим известием. Испытанные писателем скорбь и боль тотчас вылились в строки стихотворения, посвященного несчастной подруге юности: «Там, на судне, горящем

над бездной морской...» Долгое время дни и ночи он только и думал о Хенриетте, молился за нее и, по его собственному признанию, просил явиться ему во снах. В «Дополнении к “Сказке моей жизни”» (1871) Андерсен вспоминал: «Навязчивые думы о случившемся настолько овладели всем моим существом, что однажды днем, когда я шел по улице, мне почудилось, будто дома на ней превратились в огромные волны, катившиеся навстречу друг другу. Я отчетливо видел их движение; и в этот миг меня объял настоящий ужас — я испугался себя самого настолько, что, собрав всю волю в кулак, заглушил, наконец, снедавшую меня постоянно мысль об одном и том же. Я чувствовал, что в противном случае сошел бы с ума. И мало-помалу едкое горе сменилось тихой грустью». Неудивительно, что после пережитого писатель неизменно отвечал отказом на многочисленные приглашения американских издателей побывать по ту сторону океана.

*Перевод с датского, вступительное слово,  
комментарии и примечания Дмитрия КОБОЗЕВА*